

468091-9
мгновенно
тождество
мечтатель



СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

3 февраля 1990 года, на другой день после вечера, посвященного 50-летию со дня гибели Всеволода Эмильевича Мейерхольда, поэтом Михаилом Львовским был записан рассказ кинодраматурга Леонида Аграновича, в свое время, двадцатилетним, имевшего счастье работать в театре Мастера.
10 февраля 1874 года – Мейерхольд родился.
2 февраля 1940 года – он погиб.

Да, значит, боролись с формализмом. Был такой день, какое-то хмурое, весеннее, кажется, утро, я пришел в театр и мне вдруг всучили четыре или пять билетов, – приглашения посетить очередное мероприятие – заседание или совещание, проводимое тогдашним театральным начальством. Всеволод Эмильевич не пошел. И меня, в качестве свидетеля, согласная, туда отправили как наиболее свободного. Иди, сказали, Мастер велел, чтоб ты пошел. И я помчался. И опоздал, естественно. А было это в помещении театра Корша, филиал Художественного театра. Я пришел – все уже началось. Капельдинеры проводили меня куда-то в бель-этаж, в ложу. Открыли дверь, она скрипнула, а в зале царил благоговейное молчание. Тишина. Тогда там, помоему, выступал Керженцев. Какие-то цифры упоминал, сколько у нас духовых оркестров на периферии. А президиум являл собой зрелище поразительной, невозможной «красоты». Александр Александровна Яблочкина вся в ордене, которые все так лежали на бюсте, Немирович-Данченко (Станиславского не было), словом, что ни человек, то наша уважаемая старость – картина художника Лактионова. И доклад, и такая благоговейная тишина в битком набитом партере. Когда скрипнула дверь, все оглянулись на мою ложу. Я весь сжался и сел. Потом, через некоторое время вдруг опять со скрипом открылась та же дверь. Решили, очевидно, сюда направлять опоздавших. И появился Алексей Денисович Дикий. Он еще и хлопнул дверью. Опять все оглянулись на меня. Это было ужасно. А он в хорошем хмеле с утра. Облокотился на кресло, в котором я сидел, и стал дышать мне в затылок и сопеть. Поглядел он на все это действо. Потом громко произнес некое бранное слово (он сказал: говно!). Потом вышел, опять хлопнув дверью. Часов пять отсидел в этой ложе – слушал, возмущался, кипел про себя.

Вечером в фойе Мейерхольд подманил меня, и я на ходу доложил ему о докладчиках и доносчиках-выступающих – Мастера поминали на этом форуме прискорбно часто. А на следующий день там оказался Мейерхольд и еще кто-то из наших, не помню. И вот тут самое интересное начинается. Это все было как бы преамбула. В зале, где-то в третьем ряду, поднимается Михоэлс... случай этот был описан, кажется, и им самим и другими. Но вот подробности. Ты помнишь эту историю, Миша?

– Нет, как будто. Расскажи.
– Так вот. Павел Александрович Марков, идеолог системы Станиславского, убедительно призывает с трибуны к учебе у МХАТа: что было как бы само собой разумеющееся, как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», как «Партия наш рулевой!», «Учитесь у МХАТа!». И вдруг поднимается этот странный некрасивый человек со сломанным носом, Соломон Михайлович, и тихим голосом в этом хорошо построенном зале, голосом, который хорошо был слышен всем, прямо-таки посередине речи оратора спрашивает: Павел Александрович, а МХАТ у кого учится? Возникла какая-то невероятно тяжелая пауза. Это было непристойно. Ну, как молебен, и вдруг кто-то лезет. И Павел Александрович Марков, блестящий полемист, он не растерялся, разумеется, и отвечает терпеливо так, как маленькому: у жизни, Соломон Михайлович, у жизни. Соломон Михайлович кивнул послушно и уже собрался сесть, но не сел, а повернувшись, тем же самым тихим голосом, отлично слышимым всему залу, без всяких микрофонов, говорит: почему же мы такие пасынки? Вы будете учиться у жизни, а мы уже у вас? Мы тоже хотим из первых рук. Зал встал и долго грохотал аплодисментами. Молебен был сорван. Безобразие было нарушено. Хотя некоторые считали, что порядок был безобразно нарушен.

На следующий день, по-видимому, получил большой втык Соломон Михайлович от очень высоких каких-то инстанций. Он поднялся на трибуну, причем, он шел, это надо было посмотреть, как артист может идти, как собачка, которую отшлепали, виноватый. Не знаю, как это у него получалось, но шел так явно виновато, поджав хвост. Соломон Михайлович поднялся на трибуну, поднял палец: «Счастье человека в познании», – сказал он, – (то есть, надо, надо, мол, учиться у МХАТа) – еще в Библии сказано, – продолжал он, – и познал Яков жену свою Рахиль».

И опять был взрыв аплодисментов. Вот так, время от времени они шутили, взрывалось это мракобесие.
Со Всеволодом Эмильевичем был такой взрыв, не один.
Там все говорили о нем: мистик, мистик, свечки, лестницы. Кстати, вчера вспоминал кто-то (не помню кто), что Всеволод Эмильевич накануне ареста имел гигантский успех на Всесоюзной режиссерской конференции, он там блистательно выступал. И уехал в Ленинград по каким-то оперным делам. И еще готовил праздничный парад с лестгафовецами-спортсменами. А обратно приехал в торевном вагоне. Больше его никто не видел. Живым никто не видел. А те, кто

его видел после ареста, людьми именоваться не могут. Так я думаю. И все должны так думать.
Итак, Всеволод Эмильевич поднялся на трибуну и рассказал следующую историю. – Сидит у меня Шебалин, ну, вы все знаете композитора Шебалина. У него такое сложение, что у него шеи нет, ему для того, чтобы повернуться, всем корпусом должен повернуться. Так вот, сидим мы с ним в кабинете, горит настольная лампа, разговариваем, идет речь о музыке к спектаклю «Вступление». И он все время вертится. Все время поворачивается и поворачивается. – Что ты вертишься? Тебе что-нибудь надо? Шебалин тычет пальцем: «Что это там на стенке такое? Висит кто-то?» Мейерхольд надевает очки, играет испуг: «Что? Что такое?! Ах, это...» А там такой чистый кусок стены, без книг. И там на гвоздике или на крючке висят штаны. Причем, на таком зажиме, специальном для брюк. И так вот висят во всю длину на этом зажиме брюки. – Это, – говорит Мейерхольд, – штаны висят. – А-аа, штаны, – говорит Шебалин. – Слушай, Всеволод, нельзя ли их снять? У меня такое впечатление, что там кто-то повесился. – Так кто же тут мистик? – спрашивает Мейерхольд, – я, который штаны повесил? Или Шебалин, которому черт-те что кажется?!

И опять соответствующая реакция зала... Так что время от времени они «шалили». Попытались внести человеческое во весь этот ужас жизни. Хотя жить им оставалось – Мейерхольду, Зинаиде Райх – считанные месяцы. Уже занесен был топор над их головами.

– Можете что-нибудь вспомнить о мейерхольдовском «Борисе Годунове»?

– Поэзия.
Сейчас, с годами, не хочется ничего формулировать. У меня два варианта: получилось или не получилось, есть фильм или нет, поэзия или не поэзия. Почти неуловимое. Вот там была поэзия! Да, там была поэзия.

Сейчас я понимаю всю драму «Бориса Годунова» – я имею в виду спектакль на Таганке. Я понимаю, в дни премьерные там слышались какие-то аллюзии, начальство спектакль запрещало, интеллигенция горячо заступалась за Любимова. Стихи его актеры грамотно читали. Тогда я спектакль не видел, не посчастливилось. А недавно вот, по возобновлению, посмотрел. Николай Губенко расхаживает по сцене как хозяин по амбару, – в белье, тычет посохом с гвоздем в пол – тык да тык! Дачный рукомыльник вместо фонтана, меховая рванина какая-то на Марине, хор славянский.

Вообще-то пьесе страшно не повезло. Ни разу не был «Борис» поставлен как следует. Я видел в Александринке спектакль Сушкевича – они реалистически играли, как прозу с проблесками оперных массовок. Только один монолог Николая Симонова: «Достиг я высшей власти»... вдруг, как ахнул ямбом с цезурами – по залу сразу такой резкий ветер трагедии прошел – волосы зашевелились у сидящих в партере и в ярусах.

У Толи Эфроса были наброски. Спектакля в Центральном Детском я не видел, он как-то быстро сошел, а вот по телевидению – Волков, Ольга Яковлева, Бронева. Это было сильно. Стихи звучали. Но... наброски, так сказать, в карандаше к Пушкину прикасались.

Но Мейерхольд! В последний год жизни театра там рождался спектакль впервые за всю историю «Бориса» – пушкинский! В полном смысле слова. Спектакль предельно лихорадочной температуры.

Ныне каждый более-менее интеллигентный режиссер знает, что, закончив «Бориса», автор скакал по комнате, хлопал в ладоши и кричал: Ай-да Пушкин! Ай-да сукин сын!

Мейерхольд, готовя экземпляр – партитуру спектакля, – выяснил при помощи Пяста, что там не то, что строчки – цезуры случайной нет.

Возьми, Миша, на досуге почитай, строго держась цезуры на каждой строке – тебя пронзит эта великая музыка.

Репетиция. Борис – Боголюбов. Семен Годунов – черт его знает, кем он царю доводится, – брат, племянник? Он – КГБ тогдашний – явился с докладом (и вот рисунок со всеми цезурами):

Ныне
Ко мне, чем свет, (цезура)
дворецкий князь – Василья
И Пушкина слуга
пришли с доносом.
Царь: Ну.
Семен:
Пушкина слуга
донес сперва.
Что поутру вчера
к ним в дом приехал
Из Кракова гонец –
и через час
Без грамоты
отослан был обратно.
Царь: Гонца схватить.
Семен: Уж послано в догону.
Царь: О Шуйском что?
Семен: Вечер он угощал...
(Семен перечисляет всех гостей Шуйского)
и то, что

Разошлись уж поздно.
Только Пушкин
Наедине – с хозяином остался
И долго с ним
беседовал еще.
Царь: Сейчас послать за Шуйским.
Семен: – Государь,
(цезура, ухмылка) он – здесь – уже.
Одно только наблюдение цезур передает эту
жуткую атмосферу. Спешат доносить – упре-
дить друг дружку – страх, погони, репрессии.
Борис: Позвать его сюда.
(Семен Годунов уходит)
Борис (один): Сношения с Литвою!
Это что?..
Противен мне
род Пушкиных мятежный.
А Шуйскому
не дождись доверять:
Уклончивый,
но смелый и лукавый...
(входит Шуйский)
Мне нужно, князь
(здесь каждая цезура – шаг,
поклон Шуйского)
с тобою говорить.
(шаг, поклон)
Но, кажется – (шаг, поклон)
Ты сам пришел за делом:
(шаг, поклон – Шуйский как-то кружит
вокруг царя – поклоны до земли)
И выслушать хочу тебя сперва.
Мейерхольд говорил: в опере бояре все в та-

Что Пушкину –
привез вечер гонец!
Шуйский (внутренне ахнул, – a-parte):
– Все знает он!
Я думал, государь,
что ты еще
не ведаешь сей тайны...
(он докладывает)
– явился самозванец.
Царь: Кто?
Шуйский: – Не ведаю.
Царь: – Но... чем опасен он?..
И вот тут – главное. «Борис», как известно, на-
писан белым стихом, есть куски прозы, но ино-
гда, очень редко, вдруг – рифмы, отглаженные,
пустяшные. Что это автор, с его-то квалифика-
цией, за них цеплялся?
Монолог Шуйского звучит ласково, гладко,
журчит:
«сила твоя держава...
усыновил сердца своих рабов, но, сам знаешь,
чернь – она изменчива, мятежна,
суеверна,
легко пустой
надежде предана.
Мгновенному
внушению послушна,
Для истины
глуха и равнодушна,
А баснями
питается она.
Ей нравится
бесстыдная отвага.

Такая им



ких громоздких одеждах, в высоченных шапках, передвигаются точно комоды какие-то. А вы сходите в Покровский собор – храм Василия Блаженного, посмотрите, какие там переходы – низкие своды, как приходилось боярам низко гнуться и в собственных термах. Существовал протокол-церемониал – поклоны до земли перед царем-то!
Шуйский:
Так, государь:
мой долг тебе поведать
Весь важную.
Царь: Я слушаю тебя
Шуйский (тихо, указывая на Феодора):
Но, государь...
Царь:
Царевич может знать,
Что ведает князь Шуйский.
Говори.
Царь, из Литвы
пришла нам весть.
Царь: Не – та – ли! – (Борис взрывается, ему
надоели эти вздохи, поклоны, кряхтение это...)

Так если сей
неведомый бродяга
Литовскую
границу перейдет,
К нему толпу
безумцев привлечет
Димитрия! (цезура!)
Мейерхольд это потрясающе показывал – бо-
лее полувек прошло, а сцена эта перед глаза-
ми, как живая – Шуйский мурлыкал, ласкал,
усыплял Бориса рифмами этими, и вдруг:
– Димитрия!
– воскреснувшее И-МЯ!
Вот это «и-мя»! таким диссонансом врезается,
как удар ножом: «и-мя»!
И смотри, что дальше происходит – на этого
«Димитрия» – Борис откликается трижды – такой
удар ему нанесен:
– Димитрия! – как? этого младенца!
– Димитрия! – Царевич, удались.
– Димитрия!
Он потрясен. И Шуйский потрясен:
– Он ничего не знал...

Экран и сцена –



Так вот — цезуры, вот они все — это партитура спектакля.

— Расскажи, что ты помнишь о театральном фестивале... кажется, это был тридцать шестой год.

— На открытой репетиции, в фойе за буфетными столами, простыми квадратными, покрытыми чистой ватманской бумагой, сидели артисты. И был президиум, такой стол стоял, за которым сидели Мейерхольд, Коренев режиссер, Пяст, специалист по Пушкину, поэт-символист, все знал про стихи, про пятистопный ямб, а слева от нас — наташили туда рабочие сцены станки, и там создан был такой амфитеатр. И там сидело, наверное, человек семьдесят иностранных гостей. Мария Тереза Леон с громадной шапкой золотых волос, красавица такая, что глаз не отвести, Андре Мальро и другие. Оттуда пахло духами. Такая Европа. Мы от них отличались.

Иностранца тогда сразу было видно на улице. Даже когда Зинаида Николаевна приезжала (они ездили последние годы в Виши, лечились там) из Парижа, и шла от Брюсовского до театра в летний вечер, когда еще светло, то все оборачивались. Некоторые знали ее в лицо, но не многие. Смотрели просто, как она одета. Скромно, но от лучшей портнихи в Париже. И это чувствовалось.

И вот эта Европа сидела и благоговейно смотрела на Всеволода Эмильевича. А Всеволод Эмильевич восседал за накрытым кумачом столом президиума — он обожал все эти советские атрибуты. У него осталось от молодости, от театрального Октября нежность и пристрастие к советским атрибутам.

Всеволод Эмильевич показывал им профиль. Он знал, как он смотрится.

И они глядели на него зачарованно. А здесь шло бормотание. Читали по ролям. Мне посчастливилось. Я должен был читать в этот день Гаврилу Пушкина. Я очень надеялся, что до меня не

дойдет очередь. Потому что (я был готов ко всему, я мог прочитать, мне книжка не нужна была, я все помнил и до сих пор помню, и не только свой текст), но я надеялся, что не дойдет до меня. Однако все шло и шло, и шло. А против меня за столиком сидел Свердлов, который должен был читать Басманова. А это сценочка такая.

У Льва Наумовича что-то там такое не в порядке было с пюзом. Кислотность пониженная, кажется. Я и тогда в этом ничего не понимал и сейчас не понимаю. Так вот он методично, спокойно как, в отличие от меня, щенка, который и трех минут еще не провел на сцене, обдирает лимон, обчищал его. А я смотрел на это. А он все обчищал, обчищал этот лимон. Обчистил его просто виртуозно. Всю цедру ободрал. А потом сделал так: «Ссс-юсс»... со свистом засосал этот лимон целиком. И тут у меня свело челюсть. Если бы мне сейчас читать, то я бы просто не смог. От этого лимона меня просто судорога охватила. А дело идет, все все читают и читают, и я понимаю, что время подходит мне вступать. Еще раз напоминаю обстановочку. Сидит фестиваль с президиумом и... надо развезать рот. Все к тому идет. Всеволод Эмильевич не останавливает. Подходит момент. Он смотрит и я, Гаврила Пушкин, говорю Басманову: — Тебе свою (цезура) он дружбу предлагает — и первый сан — по нем в Московском царстве. Басманов отвечает, как будто он не засосал лимон: — Но я и так Феодором высоко / Уж вознесен, начальствую над войском... И так далее идет текст. Мы все это проговариваем. Вдруг Мейерхольд хлопает в ладоши и говорит: — Стоп, стоп, стоп!

Ну, думаю, все. Сейчас он меня «сделает» на всю Европу. Ну и пусть. Пойду домой и удавлюсь. Прекрасный конец жизни.

А Всеволод Эмильевич поднимается и начинает рассказывать, работая на фестивале, но и на нас. Ну, какой там Кашперовский! Это просто мур. А тут идет чистое овладение всем на свете. Он рассказывает, я не знаю, может это записано в какой-то стенограмме. Он рассказывает: «Эпоха Возрождения. Вот эта осень... Многолетняя метровая толща листьев в этих самых лесах, где скачут, идут войска. Басманов весь в золоте, в кольчуге. Это полководец русских войск. И Гаврила Пушкин, весь в серебре — посланник Самозванца. Когда сюда скакал — трех коней загнал. Конь сдох. Стоп. Он соскочил. Надо было все исполнить срочно. Он прискакал. Перед ним шатер полководца царя. Роскошный толстый ковер, которым завешен вход в шатер, треплется на ветру Возрождения, бьется, как живой, хлопает — пах! пах! Не то что наши ветерки теперешние. И мертвый стоит там Вейланд Род, негр наш, метр девяносто с лишним роста. Почетный караул. Ну, вот как у мавзолея стоят. Он должен стоять, не шелохнувшись и не моргнув. И вот конь пал, и ты, прямо с ходу, врываешься туда...»

Монолог Всеволода Эмильевича длился, наверное, с полчаса. Шептали переводчики. От них отмахивались. Потому что надо было просто смотреть на Всеволода Эмильевича. Было видно по нему все, что он рассказывает. И вот он нас всех в XIV век пригласил. И было ощущение раскованности, свободы, дара божьего, что если сейчас он скажет, рывком, чтоб полетели орлы со Спас-

ской башни — тогда еще были орлы, а не звезды, — и они полетят к чертовой матери. Все ты теперь можешь, наглевая тебе теперь на Марию Терезу Леон, которая уставилась на тебя. В тебя вдохнули всю эту силу — только сохрани!

И мы читали после всего этого. Как — не помню... Я только помню, что был такой день в нашей жизни.

И репетиции... Репетиции... У него на репетициях сидела вся труппа. Если кто и не сидел, были, конечно, такие люди. В каждом театре есть такие, которым все до лампочки, которые бегают по всяким халтурам, всегда находятся такие. Но девяносто пять процентов сидело. Будет Мастер репетировать — значит вся труппа в зале. Причем, опаздывать нельзя. Нельзя было входить после того, как он появится. Иногда он собирал всю Москву театральную и проводил репетиции. Репетировал какие-то новые кусочки. Поправлял старые спектакли. Сцену из «Вступления». Старые бурши-студенты собираются, выпускники. У Свердлина была там страшная сцена. Он торгует порнографическими открытками. Совершенно уничтоженный человек, а был самым талантливым на курсе. Обращался в отчаянии к бюсту Гете. Он замечательно играл. Колки у него держали. Он был артист мистикой божьей. Потрясающе играл. Всеволод Эмильевич поставил эту сцену, а потом стал переделывать. И показы были какие! Взрывался громом аплодисментов зал. Это был такой театр, где все было уместно. Такой это был театр! (Обычно в театрах на репетициях аплодисменты не очень приняты, во всяком случае, не такие бурные).

Вчера, в тех же стенах, происходил тот самый юбилейный вечер. Это был очень волнующий знаменательный вечер, низкий поклон его организаторам. Но я, взволнованный, потрясенный, как все сидящие в зале, все время ощущал присутствие Мастера: не воскресить — эта потеря неправима.

Там был хор со свечами. И были люди, которых ожидали. Они актуально разговаривали. И профессора из Америки и Англии, и был Миша Ульянов, и Зяма Гердт, и наши физики. И артисты читали документы. Большие напирали на то, как были Мейерхольда в тюрьме. Но в этом зале, на Тверской 5, в нынешнем театре Ермоловой, где я сто раз видел Мейерхольда, репетирующего, не возник, не ожил он. Это было жутко жалко. Потому что живой Мейерхольд — человек, который бы с ним пообщался, поглядел бы на него со стороны, хотя бы один раз, хотя бы несколько минут, — он уже этого не мог забыть. Я не знаю, что это такое, как это называется, аурой, или еще как-то. Чудо возникало вокруг него. Не зря его тяжелая лапа лежит на всем театре мира. И выступал физик Волькенштейн, сын того знаменитого нашего Волькенштейна, который про театр много писал. И он сказал, что наука не знала фигуры такой величины! Ему крикнули из зала: «А Вавилов?» Он сказал: «Мейерхольд имел влияние на мировой театр — Вавилов такого влияния не имел».

Была премьера в театре Охлопкова «Аристократов» Погодина. В ту весну, когда был в Москве фестиваль. Я сходил туда и меня потряс этот спектакль. Такой праздничный. Карнавалный. Там бегала девочка на лыжах. Шарф ее развевался от ветра. Цани проносили мимо нее веточки сосны. Было такое движение! Потом они где-то там тонули. Вообще, было все красиво, театрально. Про Беломорканал.

И утром, часов в пол-седьмого утра, мы, молодые ребята из Мастерской при театре, сидели после физкультуры на скамейках, которые стояли вдоль фойе. И я рассказывал им об этих самых «Аристократах». Прошел Мастер мимо. Он бывал разный, Всеволод Эмильевич. Он мог подойти и поздороваться с каждым за руку. Такой Мейерхольд демократ. Здесь он прошел такой строгий, неприступный. Но огромное ухо я почему-то засек. Я продолжал рассказывать про Охлопкова. Какой это замечательный спектакль. Ребята слушали. Потом была репетиция. Репетировалась пьеса Сейфуллиной «Наташа». Полтруппы сидела в зале, как всегда, Всеволод Эмильевич репетировал, как всегда. Ничего особенного в этот день не произошло. На «Борисе Годунове» было значительно интересней. Хотя и здесь было интересно. На сцене стоял стог сена. Настоящего! Он пахнул настоящим сеном. Зинаида Николаевна и Женя Самойлов играли любовную сцену. Потом еще что-то было, и еще что-то было. А потом вдруг, уже часам к трем, Рита Генина, помреж, встретила меня и сказала: Мастер тебя ищет. Я помчался. Он сидел в кабинете без окон. Внутри этого здания. За столом, заваленным папками. Это был Мейерхольд — бюрократ. Неприступный, холодный, страшноватый. «Вы что там, делаете что-нибудь?» — (речь о школе-мастерской при театре) спросил он меня строго. А я каменел, даже когда он ко мне средне относился. Только, когда он улыбался, мог разинуть рот. — «Да Всеволод Эмильевич, репетируем потихоньку...» «А почему же ничего не показываете?» — «Всеволод Эмильевич, я говорил...» «Комму вы говорили?» «Я говорил Зинаиде Николаевне...» «Зинаида Николаевна еще не директор теа-

тра!»

Я думаю, что же это такое? Чем я виноват? За что он на меня сердится? Я был готов погнубить. А он: «Вы можете показать?» «Конечно, я готов.» «Ну, приходите вечером. Кто у вас художник?» Я говорю, что Шестаков Виктор Алексеевич. «Хорошо. Приходите вечером. Домой приходите. В девять часов».

И я выкатился в полной панике. И все думал, что же это такое? Чем я разозлил Мейерхольда? Кто-нибудь «стукнул». Мы тогда все знали, что если в театре у тебя есть жена, — Мейерхольд очень не любил, когда муж и жена служат в театре, — потому что, если он обидит жену, муж начнет обижаться, или наоборот, интриги начнутся какие-нибудь. Я подумал, может быть, это с Любой связано как-то. Да нет, как будто все нормально. Короче говоря, без пяти минут девять, я с большой черной палкой на шнурках, мозик, с чудными эскизами Шестакова, действительно замечательного театрального художника (мы потом с ним были очень дружны, долгие годы и после гибели Всеволода Эмильевича, и я очень гордился, что вот такие у меня знакомые есть), явился.

Я звоню в дверь, в бель-этаже, вот там, где мы вчера стояли со свечами у его дома. Открыла дверь мне Зинаида Николаевна. Я клянусь богом, на ней был маленький передничек, как на горничной, и на голове такая фижга. Она чуть ли ни пыталась снять с меня пальто, то есть драчный плащ. Затем я вошел в огромную комнату. До того я там бывал всего дважды. Когда показывался Мейерхольду. Люба, жена моя, первая как-то подружилась с Зинаидой Николаевной, привела ее к нам. Зинаида Николаевна спросила: «Почему вы вам не поступили к нам?» Страшновато было, и я сейчас смутно помню, как показывался. Стал я хитренько в простенке между окнами, и Мастер, увидев в какой я панике, облокотился на роуль в профиль ко мне, ухом. Прилежно слу-

шал. А я читал последнюю часть «Про это», из «Лейтенанта Шмидта» — письмо и поезд, и монолог на суде, и, вообрази, главку из «Петербурга» Белого, где Павел перед смертью у окна. Неплохой репертуарчик для 19-летнего перепуганного нахала?

В другой раз я еще зачем-то забежал в эту квартиру — тогда мелькнула пятнадцатилетняя Таня (Есенина) — красивая она была такая. Поглядишь — и сердце сжимается. Сколько же на свечечку эту прекрасную обрушилось, какие нечеловеческие испытания... нечеловеческие... — арест Мейерхольда, — а ведь она и Костя, ее брат, Мейерхольда любили. Влюбленный в их мать, Мейерхольд и детей ее любил; холил, смешил (отцу-то этих ребят было не до них — и Таня, и Костя не видели его с младенчества). Арест Мейерхольда и сразу страшная смерть матери — стены эти, паркет были залиты кровью... Восемнадцать ножевых ран. Тогда еще доблестные наши чекисты не умели молоточком по темени, как Костю Богатырева в нашем подъезде... И раннее замужество Тани, и арест родителей ее мужа Володи Кутузова. Аресты, выселение, спасение архива Мейерхольда, высылка. До старости, — она в прошлом году умерла — в Ташкенте. Талантливый, цельный был человек.

Но вернемся в 1936-й.

Явился я к Мастеру с папкой. Этот спектакль ребята должны были играть по договору с Наркомсовхозом Сибири — в поездку готовились — на жизнь, на штаны заработать немножко. Кажется, ни черта из этого не вышло. Оформление должно было быть компактным. В бархате вырезан круг — шахта, если смотреть в анфас. В круг хорошо вписываются фигуры. Свет определенным образом. Я сам до ГОСТИМА играл пьеску эту, Солнышкина в передвижном Современном театре. Ставил Илья Юльевич Шлепьянов. После аварии Солнышкин в больнице, не на койке, потому что койку нигде было поставить, а в кресле, и кресло это стояло спиной к зрительному залу. Кресло это, конечно, напоминало то самое кресло, в котором умирала Зинаида Николаевна в «Даме с камелиями». Ну, здесь у нас все было по своему. Короче говоря, я эскизы показывал, Всеволод Эмильевич строго смотрел. Два раза спросил, изображая беспокойство, настороженность: — Не формализм?

Я только руками разводил — боже упаси, дескать. Мастер кивал: — Ну, да... Откуда же вы можете быть формалистом? Вы же даже со Шкловским не знакомы?

— Не знаком.

И он расписывался на каждом эскизе (я безумно скорбю, что пропало это все во время войны), дважды расписывался. Сверху каждого листа и снизу. Это на тот случай, если мне понадобится два автографа, чтоб у меня были такие возможности. Одним словом, все было замечательно.

Вошла Зинаида Николаевна. Принесла кофе в малюсеньких чашечках. И какие-то чудные печенюшки, которые я сроду не видывал, безумно вкусные. А потом она посмотрела на меня и еще что-то принесла, какие-то лоптики очень питательные. Стали мы попить кофе — мастер с мастером. Он у меня что-то спросил, я был готов к

этом разговору вполне, все у меня было нормально. Потом мы молча сидели и смотрели друг на друга. Я чувствовал, что мне еще не пора уходить. Понимаешь это ощущение?

Все-таки я волновался. Но главное чувство, начиная с первого свидания с Мастером — это наслаждение. Радость, что я вижу его, живого Бога Театра. И вдруг Всеволод Эмильевич спрашивает: Так что вы там про Охлопкова рассказываете?

И тут во мне все екнуло сразу. Я вдруг понял, что такое Охлопков на сегодняшний день. И черт дернул меня его расхваливать! Я знал, что Охлопков-то давно ушел, Мейерхольд его терпеть не может. Предательств несколько было со стороны Николая Павловича. И тут, в театре Мейерхольда, Охлопкова превозносить?! Это я не знаю, что такое! Это черт знает что с моей стороны было! Я почувствовал, что у меня мокрая голова. Я сразу все сообразил. Но, с другой стороны, я знал, что этому человеку и врать-то нельзя. Насквозь все видит. Его профессия знать про человека все, про его поведение, про все. Если я сейчас начну что-то врать, кривляться, это тоже мне не поможет. Я решил быть мужественным.

— Ну, так что там было? — говорит Мейерхольд.

И я стал рассказывать. Вот, как бегут цанни. Как висят эти полотнища. Какие там площадки. Как он разрушил сцену, и пятае, и десятое. Мастер довольно терпеливо все это слушал. Ему интересно было. Он не собирался на этот спектакль. Потом он вдруг встал, Всеволод Эмильевич, пошел в коридор, стремянка там у него была, такая удобная, хорошая. Он поднялся к самому потолку, там наверху стояли такие толстые папки. На каждой из них был наклеен номер. Большая цифра, вырезанная из отрывного календаря. Архив такой. Много папок. Он вытащил одну, обдул с нее пыль. Вытащил другую и спустился с ней. Сел, раскрыл, полистал. Потом мне показал: «это?» Я посмотрел и сказал: «Это. Это что такое, Всеволод Эмильевич?» Я уже сейчас не помню, кажется, архитектора Лисицкого эскиз к декорациям «Хочу ребенка». Была такая пьеса Третьякова. Так вот, это была не декорация (то, что показал мне Всеволод Эмильевич), это был принцип. Это было решение спектакля. Некая новация. Зрительный зал разрушен, в партере — игровые площадки. Публика вокруг и на сцене. Спектакль-диспут должен был быть. И что-то в нем напугало власти.

«Это?!» «Да, Всеволод Эмильевич». Очень довольный, Мейерхольд отложил папку, завязал тесемки. Большие никаких комментариев не было. «Я пойду, Всеволод Эмильевич?» «Большое спасибо, что вы мне все это рассказали». Он крикнул: «Зина!» Я ей поцеловал ручку два раза, одного мне не хватило. Проводили.

А потом был завтрашний день. Стоял тот же стог сена на сцене. Как всегда на репетициях Мейерхольда было много народа. Пришло время начала. И вошел Мейерхольд. И с ним Гладков рядом и кто-то еще. Стояло его кресло. Лампа. Погасили свет в зале. Зинаида Николаевна и Женя Самойлов начали играть свой дуэт. Они разговаривали. Шла сцена. Вдруг, и с того ни с сего, Мейерхольд закричал: «Стоп, стоп, стоп!» И тут что-то произошло. В зале зажегся свет. Он говорит: «Охлопкова нет тут?» Никто ничего не понял. Какой Охлопков, при чем здесь Охлопков?! Он уже столько лет не работает в театре. «А это кто там сидит? А-аа, Кельберер, здравствуйте». Все в недоумении. Мейерхольд очень внимательно и как-то подозрительно осматривает весь зал.

«Заприте все двери, пожалуйста! И наверху, пожалуйста, тоже. Продолжайте. Зиночка, прости, пожалуйста».

Вот так было. И, конечно, через два часа кто-нибудь из наших же донес Николаю Павловичу.

Сейчас много появляется воспоминаний о Мастере, есть очень интересные. Габрилович написал. И привираем, разумеется. Возможно явление «ложной памяти». Что подделаешь, прошло более полувека. Это все тщетные попытки показать его живым, таким, каким он существует в твоей душе, как запомнился. Репетиции же 60-летней давности запомнились — слышишь их голоса. Пожалуй, самый похожий Мейерхольд в воспоминаниях Саши Гладкова. Ему посчастливилось несколько лет прожить совсем рядом с Мастером. Мейерхольд его любил, доверял ему. Именно Саша записал: «Мастер не хотел, чтобы о нем помнили, как о некоем мэтре, комодне-небожителе...» Я помню, как он очень смешно изображал, как Хэр Макс Рейнгард восседал где-то под потолком в креслах и дистанционно руководит репетицией через ассистентов. О себе Мейерхольд хотел бы оставить память, как о человеке веселом, склонным к розыгрышам, шутке, карнавалу, балагану, празднику.

Да. Плохая им досталась доля...

Публикация Е.ЛЬВОВСКОЙ.

Экран и сцена